

УРОКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Последний день мая — день рождения Леонида Леонова — автора романов «Соть», «Вор», «Дорога на Океан», «Русский лес», «Пирамида». Мастеру слова, которого Горький — еще молодого — «ввел» в ряд крупнейших имен русской классики, исполнилось бы сто лет. В это трудно поверить. Всего несколько лет назад

мы еще жили «в присутствии» Леонова: каждое его слово по самым важным вопросам современности ловилось, становилось событием... Есть люди, которым посчастливилось лично общаться с Леоновым, беседовать с ним. К их числу относится известный литературный критик Инна РОСТОВЦЕВА.

1909-1999-29 мая-85

ЧУДО ИЗ ЗЕРНА

ЛЕОНИДУ ЛЕОНОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 100 ЛЕТ

Беседы, разговоры с писателем, особенно повторяющиеся, — это некие фрагменты единой фрески воспоминаний, которые входят в целое, помогают строить образ. Сам же Леонов-человек, как я не раз убеждалась во время наших встреч с ним, которые пришлось на последнее десятилетие его жизни (1984—1994), не стремился к тому, чтобы строить миф о себе. «Миф о себе — что лепка из воды», — мог бы сказать он словами современного поэта.

Когда я однажды спросила у писателя, как можно было бы написать его биографию, он ответил на мой вопрос вопросом: «А как можно написать биографию Достоевского?» (Достоевский — любимый писатель Леонова. — И.Р.) И стал размышлять вслух: Мертвый Дом, Аполлинария Сусллова, разрыв с Тургеневым, нищета Раскольников... Он сослался на одну из своих статей, где у него была мысль о том, что можно было бы написать биографию автора через его героев. Это значит, если последовать совету художника, — через биографии леоновских Митки Векшина, Скуратовского, Вихрова, Евгении Ивановны, Дымкова...

Леонов скупко говорил о себе, гораздо охотнее и откровеннее — об эпохе, в которой жили герои книг, — а писатель начинал работать в литературе в те нелегкие времена РАППа, когда его, как и многих других замечательных русских писателей, вульгаризаторская критика зачисляла «в попутчики». В его воспоминаниях оживали исторические лица — Сталин («У Сталина видели весь подчеркнутый красным карандашом текст «Вора»), Фадеев («Фадеева я знал. Это серьезная драма... Он очень верил в Сталина, хотя после смерти оставил письмо... Однажды его привезли лечить от запоя (цирроз печени), он позвал меня и сказал: «Их все брали, а я

все подписывал... Он назвал цифру, от которой я ужаснулся»), Горький... Однажды в Сорренто, будучи в гостях у Горького, он увидел огромный аквариум, в котором жили всевозможные обитатели моря... Его внимание привлекла какая-то шелестящая трава — когда рыбки соприкасались с нею, они испуганно отскакивали: трава шелестела. Это оказалась не трава, а каракатица — с нее содрали кожу, остались одни нервные волокна — они жили... «Это мне напоминает картины некоторых современных художников», — заключил свой рассказ Леонид Максимович.

Меня, да только ли меня, поражала даже в беседах необычайная образность мышления писателя, его склонность к символу, притче, обобщениям. И это далеко не случайно. Исследователи отмечают, что именно поэтичными, «загадочными сказками» («Буряга», «Бубновый вальс», «Уход Хама», «Деревянная королева») вошел Леонов в литературу 20-х годов, сразу же определившись как художник, который умно и точно пользуется вверенной нам по наследству, по праву памяти высокой культурой мифа, Библии, народно-книжных форм житийности, сказа, апокрифов. Писатель не отказывался от них до конца дней, строя свое «мироздание по Дымкову» («Пирамида») в строгом убеждении, что искусство, если оно хочет опережать время, «необходимо преувеличение», что «воображение — это талант».

Некоторые вещи, признавался он, начинались у него с эмоции, с

мелодии, с «музыкального ключа»: «Эмоция — первый слепок идеи. Эмоция в жизни не чистая, бытовая, а в творчестве она математичнее, строже... Разум открывает только то, что душа знает...»

Все это только подтверждало мысль, что природа леоновского романного мышления глубоко поэтична («превращение образа в притчу»), поэтому однажды я решила спросить о том, что значили поэзия, поэты в его жизни.

Приведу фрагмент этого разговора, который мне удалось записать, хотя обычно Леонид Максимович запрещал это делать.

— Писали вы стихи?

— Да, писал. Но я сжег рукопись своих стихов.

— И не жалеете?

— Нет. В стихах мне было тесно. Стихи и труднее писать и легче. В стихах всегда есть «перилла» — ритмы, размеры, рифмы. В пьесе несколько актов. В прозе свободы сколько угодно, возможны любые исправления. В искусстве можно как угодно, чтобы было хорошо...

— Что такое по слову Фета «вечное золото» искусства?

— «Вечное золото» есть... Живет. Дукал золотой не изменишь... Помните, в «Памятнике» Горация?..

— Каких поэтов вы знали? С кем встречались?

— Блока не знал. С Есениным встречался, бывал у него. Это трагическая судьба, я ощущал себя виноватым перед ним. Лучшее у него — предсмертные стихи.

Маяковского не люблю. Взалкал славы — и получил славу... А

ведь был талантлив. Есть у него хорошие строчки: «... А не буду понят — что ж. По родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь.»

Заболочкого не знал. «Меркнут знаки Зодиака» — лучшее у него стихотворение. Вот так и надо было писать... Но главное в литературе — мышление, а не описание. При его громадном та-

ланте обидно: что-то помешало ему стать поэтом первого ранга, хотя «Некрасивая девочка» — очень хорошее стихотворение...

Поэтом первого ранга для Леонова неизменно оставался Пушкин. Но, похоже, это «веселое имя», как сказал Блок, не было для писателя столь легким и лучезарным, ибо возникало в наших разговорах всегда вместе с темой титанического труда, мучительных усилий художника:

— Легкое перо у Пушкина? Рукописи Пушкина говорят о том, что его легкость обманчива, — она достигается огромным трудом. Мучительны поиски нужного слова... Зачеркнуто, переписано...

Мысль Леонова всегда прихотлива, непредсказуема, движется ассоциативными кругами, — так зашел разговор о пушкинском «Пророке».

Духовной жаждой томим, В пустыне мрачной я влился,

И шестикрылый серафим На перепутье мне явился.

По мнению Леонида Максимовича, «труп» — слово не литературное. «Живой труп» у Толстого — это непонятно, неудачно. У Пушкина же гениально найденное слово «влился» подготавливает «Как труп в пустыне, я лежал...» «Холодок бежит по коже от этого трупа», — роняет писатель. Точно так же, как словосочетание «духовной жаждой». Автор «Пророка» мог бы написать «полднейной жаждой»... или какой-нибудь другой, но насколько же сильнее слово «духовной» применительно к Пророку. «Это должно сотни раз об-

катываться в душе, чтобы получил-ся голыш», — замечает Леонов.

В другой раз, тоже в связи с Пушкиным, но размышляя уже о работе художника-романиста, он скажет об этом другими, более возвышенно-поэтичными словами: «Алмаз не шлифуют в виде шара», нужно различать «границы на цвета, нюансировки», «расчет грани и наконец сюжет, который



есть двигательная сила; не будет двигательной силы — ничего не будет. Достоевский был мастером детектива. Он читал французского, Эжена Сю...

У Леонова — множество тонких и точных суждений о ремесле, о писательском труде (они рассыпаны в его произведениях, в публицистике), причем талант и труд в его понимании — оба равноправные и необходимые слагаемые художественного мастерства. Но одно дело про это читать, а другое — увидеть воочию, как Мастер шлифует грани слова, доводя его до нужного блеска и все же оставаясь недовольным собой. Ведь, по его твердому убеждению, «труд художника оплачиваются нечестными озарениями, возникающими, как звезда, которая сразу объединяет в целое разбросанный, не осмысленный еще хаос произведения». Когда я попыталась уточнить, какая «звезда» более всего дорога автору в собственных произведениях, то писатель медленно продиктовал мне следующую фразу, отделив ее — на моих глазах — до знаков препинания: «В «Русском лесе» — точнейшая констатация смерти теневого героя

романа, Полиного дружка Родиона: муравей, пробегающий раскрытый, почти живой, глядящий в небо глаз убитого солдата».

Прочитан ли так, с художественной точки зрения, а не по «теме» (в защиту русского леса), этот известнейший роман, осмыслен ли — во всей совокупности авторских редакций — «Вор», которого западногерманский писатель Вальтер Йенс, по его словам, «прочел еще в нацистские годы» и о котором сказал, что это — «один из лучших романов XX века»?

Примечательно, что пушкинские строки из «Бориса Годунова»: «Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный, безымянный, засветит он, как я, свою лампаду — и, пыль веков от хартий отряхнув, правдивые сказанья переписшет...», — мне довелось услышать от Леонова в пору его окончательной, завершающей работы над последним своим детищем. Писатель тревожился, как примут, прочтут и, главное, — поймут его «Пирамиду» — философский роман-завещание будущему: «Это должен быть очень талантливый человек, который почтительно и терпеливо засядет за роман. Легче будет, когда я жив, труднее после смерти».

Так, преломляя свои личные думы через «магический кристалл» традиций Пушкина и Горация (в моем присутствии он несколько раз цитировал по латыни чеканные строки из «Памятника» Горация), Леонов размышлял о бессмертии подлинных произведений искусства, которые являются вечным торжеством человеческого духа: «Притчи, сказки, мифы, легенды, — уточнял в таком случае писатель, — они пишутся на меди, которую не сжигает ни едкое время, ни едкий дождь, ни могучий Аквилон».

Библейское, вещное, слово, могущее связать формулу человека с формулой культуры... Не к этому ли стремился Леонов, взыскательный мастер слова, всю свою созидательную жизнь, и не об этом ли он сам сказал столь поэтично в одном из самых сокровенных своих произведений «Evgenia Jvalopova»: «...Дело художника уложить событие в объем зерна, чтобы, брошенное однажды в живую человеческую душу, оно распустилось в прежнее, пленившее его однажды чудо».

Инна РОСТОВЦЕВА.